

Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени

В. О. Ключевской

В. О. Ключевской. Сочинения в восьми томах.
Том VIII. Исследования, рецензии, речи (1890-1905)
М., Издательство социально-экономической литературы, 1959
[ОСР Бычков М. Н.](#)

Полтораста лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомним то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство; на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка -- это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которою можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества, в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой, и постигая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных "случайных" звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения, -- вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я прежде всего должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, теневую окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века -- так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою

реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси,

В древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением с строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое *божественное писание*, как они. ее называли, не хуже, чем *отче наш* или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доньне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходящих далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебной) ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и по мере того, как со смертью Петра истощались эти деятельные питатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми*, *архитектурными*, *елюзными* и другими подобными.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечкою банкой, и при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания все же мирила с ней как с неизбежным злом на службе и в общежитии, И вот приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова; по крайней мере современник Болотов в своих записках под 1752 г. рассказывает, что "самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие", но таких песенок было еще очень мало, и "они были в превеликую еще диковинку", и потому молодыми барынями и девицами "с языка были не спускаемы". А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе. Колочая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели -- к познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью Своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем *Бригадире* (1766 г.) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

-- Боже тебя сохрани, -- говорит первая второму, -- от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

-- Madame! -- отвечает ей Иванушка, -- вы говорите правду, Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, "соблазнительных, украшенных скверными эстампами" и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

Живописец Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман -- художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман -- пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы -- подписи внизу. Наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они "влюблялись в обманы и Ричардсона, и Руссо".

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе ричардсоновой *Памелы*, продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде *Клариссы*, но уже с участием Ловеласа, а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: *Российскую Памелу или приключения Марши, добродетельной поселянки*, сменяло *Геройство любви или изображение великодушного любовника*, а затем уже следовала *Генриетта или гусарское похищение* в трех частях. Так народился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и "с чепухой сладких слов", как выразился некогда Княжнин о выведенном им в комедии *Чудаки* подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах и отлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! ни наук, ни правил вы не зная,
Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну (*Живописец* Новикова).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждательных идей. Но

популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо вое" принимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *esprits forts* и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий. Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и прежде всего набросилось на простейшие нравственные связи. "Не щадить отца -- вот прямая добродетель века!" -- восклицает Советница в *Бригадире*, восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев *Чудаков*, разбогатевшего самодура-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выросших новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков -- в забвение приличий, -- словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать. Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, -- это все-таки задавало бы некоторую работу уму, -- а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук: какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II *Именины госпожи Ворчалкиной*), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочинный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма. Многим русским вольтерьянцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость -- не знать никаких наук. С просветительной философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикою: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но встарину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятавались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерьянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов; кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, -- словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную

ответственность; да этот смех и там, кажется, был преемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индугенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку; после оказалось, что этот француз был вовсе *т* француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерянцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусице, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и-просвещения, и в продолжение 5--6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы *Труть*, *Живописец* и *Кошелек* по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов. От журналов Новикова всего больше досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; *Кошелек* даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, "слог расстеганный и мысли прыгающие" и которые они "фелитировали без всякой дистракции". Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных. В *Живописце* есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах с своими читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-исправительном действии комедии читатель отвечает: "Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмеваю". Нечто подобное, кажется, случилось и с русскою сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей. Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных каррикатур, по крайней мере видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах, не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа, -- ведь, в мужниных же друзей, а не в

каких-либо иных, поймите вы это, -- и которая с гордостью добродетели говорила: "Мне стыдно чего-нибудь стыдиться"? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца"; *ни бога ся боят, ни человека ся стыдят*. Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбуждающим массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы-тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распущенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое мирозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было не слабостью, не простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности; непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несчастьем быть русскими и, подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились в России, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще в древней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упрочить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере верхний слой его -- дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых с их Митрофанами и Николашками, в 18 лет едва одолевавшими азбуку (в комедии Екатерины II *О время!*). Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы умение воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходок против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общепольного дела, стала праздной. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожило и общественное побуждение к тому. Наконец, тогдашний класс "просвещенных людей" составлял очень тонкий слой, который случайно взбитую пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому ненужных суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе, что русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян, и что им лучше было бы не иметь

никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества?

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании "третьего чина", или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование, говорил, что люди, приобретающие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете "за леность", признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков, после 8 лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком, а с 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем, в то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно *Древняя российская вивлиофика*, сборник разнообразных памятников по русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

В 1792 г., разбитый постигнутою его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это -- энтузиазм сдержанный и обдуманый. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это -- служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практично обдуманый план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения -- галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. "Благородные невежды, как называл, Новиков русских галломанов, сходились с простыми невеждами старорусского покроя в

убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, "и не учась грамоте, можно быть грамотеем". Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и, остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальной самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались. Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: "воссияли науки -- и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца", сколько господ Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки с своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В *Живописце* Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: "он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны". Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние. В *Кошелке* 1774 г. Он восстает против мнения, что русские должны Заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый: не одной же России отказано в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерьянцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывала отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому "среднему сословию", подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником науки художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его *Живописец* выдержал в прошлом веке пять изданий. Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям по незнанию ими чужестранных языков нравятся. В самом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были *Синописис*, учебник русской истории, *Совершенное воспитание детей* и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

"Имей душу, имей сердце", -- проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно ещё *сотворить* и *научить*, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения,

выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела: не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, о внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить о довольно налаженном типографском и книгопродавческом деле. Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения: так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом в жмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за Спросом читателей простонародных романов и повестей вроде *Бовы Королевича* или *Еруслана Лазаревича*, и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской сажке и стать за пыльным прилавком книжной лавки. В обществе, где, по сознанию самого новиковского *Живописца*, даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это умение собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова -- явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством "аршина на три толщиной". Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее, -- в обществе, где встречались носители всех перебивавших в России мирозерцаний от *Голубиной книги* до *Системы природы* Гольбаха и где на одном и том же пиру за минутом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы Содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все -- самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина. Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню -- не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; "что с детства он привык любоваться удовольствием, какое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в

уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, -- не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь баринком и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в Ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца, по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неутомимый энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя до тла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию божества и внутреннего человека. А для изображения С. И. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо -- это с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! -- с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали "божьем человеком"! И другие члены кружка были проникнуты тем же йовиковским или лопухинским духом: это были лучшие, образованнейшие люди московского общества, князя Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей в каждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская, едва из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижникам его стал богач, скупавший жизнь от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев, своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Шварца об основании просветительного общества; а другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походящий, тронутый речью Новикова

о помощи нуждающимся в голодный 1787 г., расстроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения, но, умирая в бедности, услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его *Системы природы* Гольбаха, вдруг, охвачен был чувством неопisanного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал *Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями*, когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками. Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там при невероятном множестве способов к просвещению весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием, что одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, а другие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности -- или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгораясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка. Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморожденных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работой приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый с ними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствований для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях. "В школах и на кафедрах твердят: люби бога, люби ближнего, но не воспитывают той природы, коей любовь сия свойственна". Это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной. Эта книга учит, что, чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением, и что успехи в науке познания самого себя сопровождаются

быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих¹. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в Термометре, который держит теплая рука. Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, Когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью. Можно сказать и так, можно и наоборот: они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами; они -- воспользуемся их же фигурным языком -- вступили в состав "малого Избранного народа" вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но, когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ московский Платон, испытывавший его в законе божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществах наукам и издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устроят пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, готовят надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа "просвещенных людей", модно воспитанного высшего дворянства, в широкий мир "простосердечных мещан", простого грамотного люда, и обдуманном сочетании общечеловеческих и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русскому просвещению?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца *Дружеском ученом обществе*, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов -- Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой *Типографской компании*, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. ори Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типографской компании*, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более 1 1/2 млн. на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы -- *Иосиф Битобэ* и *Потерянный рай* Мильтона и вместе с альманахом Карамзина *Аглаей* были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков *Московских Ведомостей*, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемерно (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцом, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных, вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания Духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав, связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова Писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было

русское просвещенное общество: это -- *общественное мнение*. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779--1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же -- сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие -- одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, Когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел докончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускаться в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он Основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала *Утренний Свет*. Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года Открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее "Дружеского ученого общества", которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы готовить их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита: Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток. "Дружеское общество" по мысли Шварца в 1782 г. учредило ярн университете другую семинарию, *переводческую* иди *филологическую*, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные -- на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев "Дружеское общество" посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова -- *Вечерней Зари* 1782 г. и *Покоящегося Трудолюбца* 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике, он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс "философской истории" для семинаристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели "всякого рода и звания", по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи². Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное

усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительной целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорированных, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок -- они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, склонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы "Дружеского общества", как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет с своей стороны немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обществом. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.

КОММЕНТАРИИ

Восьмой том "Сочинений" В. О. Ключевского содержит статьи и речи, написанные им в 1890--1905 гг. Это было время распространения марксизма в России, ознаменованное появлением гениальных трудов В. И. Ленина, которые представляли собою новый этап в развитии исторического материализма, давали ключ к пониманию основных моментов русского исторического процесса.

Буржуазная наука в период империализма переживала состояние кризиса, который отразился и на творчестве В. О. Ключевского. Он постепенно отходит от позиций буржуазного экономизма воскрешая некоторые уже безнадежно устаревшие построения более официальной историографии.

Том открывается большим исследованием "Состав представительства на земских соборах древней Руси" (1890--1892 гг.) Эта работа Ключевского долгое время являлась крупнейшим обобщающим трудом по истории соборов XVI в. Широкое привлечение источников, источниковедческий анализ, прекрасная осведомленность в истории государственных учреждений, яркость изложения конкретного материала отличают статью Ключевского, которая оказала заметное влияние на последующую историографию вопроса. Вместе с тем работа В. О. Ключевского свидетельствовала о том, что историк в ряде общих вопросов истории России XVI в. возвращался назад, к представлениям "государственной" школы. Не случайно и сам его труд был посвящен виднейшему представителю этой школы Б. Н. Чичерину.

Свое исследование Ключевский начинает с резкого противопоставления земских соборов сословно-представительным учреждениям Запада, вступая тем самым в полемику с В. Н. Латкиным и другими учеными, говорившими о чертах сходства между этими учреждениями. "На земских соборах, -- пишет Ключевский, -- не бывало и помину о политических правах, еще менее допускалось их вмешательство в государственное управление, характер их всегда оставался чисто совещательным; созывались они, когда находило то нужным правительство; на них не видим ни инструкций данным представителям от избирателей, ни обширного изложения общественных нужд, ни той законодательной деятельности, которой отличались западные представительные

собрания... Вообще земские соборы являются крайне скудными и бесцветными даже в сравнении с французскими генеральными штатами, которые из западноевропейских представительных учреждений имели наименьшую силу" {См. выше, стр. 9.}.

Вслед за Б. Н. Чичериным В. О. Ключевский связывал происхождение земских соборов не с социально-экономической жизнью общества, ростом дворянства и городов, заявлявших свои политические требования, а с нуждами государства. Соборное представительство, по мнению Ключевского, "выросло из начала государственной ответственности, положенного в основание сложного здания местного управления" {Там же, стр. 104 (ср. стр. 101--102).}. Развивая свою антитезу России Западу, Ключевский писал, что "земское представительство возникло у нас из потребностей государства, а не из усилий общества, явилось по призыву правительства, а не выработалось из жизни народа, наложено было на государственный порядок действием сверху, механически, а не выросло органически, как плод внутреннего развития общества" {См. там же, стр. 71.}. Земский собор, -- резюмировал Ключевский, -- "родился не из политической борьбы, а из административной нужды" {Там же, стр. 110.}.

Работа В. О. Ключевского писалась в обстановке политической реакции, в годы осуществления земской контрреформы 1890 г., которая фактически упраздняла даже элементы самостоятельности земских учреждений, подчинив их правительственным чиновникам. В таких условиях работа Ключевского, утверждавшего решающую роль государства в создании земских соборов, приобретала особый политический смысл, ибо она как бы исторически обосновывала незыблемость существовавших порядков. Не обострение классовой борьбы, не усиление дворянства и рост городов, оказывается, породили земские соборы, а всего лишь "административная нужда".

Эта общая концепция В. О. Ключевского проводилась им и при конкретном разборе сведений о земских соборах 1550, 1566 и 1598 гг. Так, говоря о соборе 1566 г., Ключевский считает, что он был "*совещанием правительства со своими собственными агентами*" {Там же, стр. 49.}. Таким образом, Ключевский замаскированно становился на позиции тех, кто доказывал, что Россия никогда не имела представительных учреждений.

Впрочем, Ключевский уже отмечал присутствие на соборе 1598 г. выборных представителей местных дворянских обществ {Там же, стр. 64--66.}.

Концепция Ключевского вызвала возражение еще при его жизни. С. Авалиани в особом исследовании о земских соборах опроверг многие его тезисы. Советская историческая наука продвинула вперед дело изучения земских соборов XVI в. С. В. Юшков отмечал, что земские соборы XVI--XVII вв. являлись сословно-представительными учреждениями {См. С. В. Юшков, К вопросу о сословно-представительной монархии в России, "Советское государство и право", 1950, № 10, стр. 40 и след.}, игравшими видную роль в политической жизни Русского государства. М. Н. Тихомиров отметил и то, что сведения В. О. Ключевского о действительно состоявшихся земских соборах XVI в. очень неполны {См. М. Н. Тихомиров, Сословно-представительные учреждения (земские соборы) в России XVI в., "Вопросы истории". 1958, № 5, стр. 2--22.}. Это подтвердилось новыми находками материалов о соборных заседаниях 1549, 1575, 1580 гг. и др., которые не были известны Ключевскому {См. С. О. Шмидт, Продолжение хронографа редакции 1512 г., "Исторический архив", т. VII, М.--Л. 1951, стр. 295. В. И. Корецкий, Земский собор 1575 г. и поставление Симеона Бекбулатовича "великим князем всея Руси", "Исторический архив", 1959, № 2, стр. 148--156. См. также В. Н. Автократов, Речь Ивана Грозного 1550 года как политический памфлет конца XVII века ("Труды Отдела древнерусской литературы", т. XI, М.--Л. 1955, стр. 255--259).}.

Если общая концепция Ключевского о характере земских соборов в России XVI--XVII вв. даже для своего времени была шагом назад, то многие его конкретные наблюдения, несомненно, интересны. Мысль о связи "соборного представительства с устройством древнерусских земских миров и общественных классов" {См. выше, стр. 15.} заслуживает внимания. Ключевский показал, как дворянский участник соборных заседаний был по существу "естественным представителем на соборе уездной дворянской корпорации" {Там же, стр. 35.}.

Исследование В. О. Ключевского о земских соборах в дальнейшем было широко использовано автором при подготовке к печати окончательного варианта "Курса русской истории" {См. *В. О. Ключевский, Сочинения*, т. II, М. 1957, стр. 373--398; т. III, М. 1957, стр. 289--291, 300--318.}.

В статье "Петр Великий среди своих сотрудников" В. О. Ключевский, очерчивая яркий образ этого деятеля XVIII в., стремился показать, что Петр I будто бы в своей деятельности как правитель проявил новые черты: "это -- неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг" {См. выше, стр. 315.}.

Установление самодержавия в России, конечно, привело к некоторому изменению в формулировках идеологического оправдания самодержавия; в частности, понятие "общего блага", столь характерное для "просвещенного абсолютизма", проповедовалось не одними российскими самодержцами. Однако под этим "общим благом" понимались узкие классовые интересы, в первую очередь дворянства. Личные высокие качества Петра I вызвали стремление дворянской и буржуазной историографии резко противопоставлять деятельность Петра I его предшественникам. Не избежал этого и В. О. Ключевский, нарисовавший явно идеалистический образ царя, будто бы подчинявшего все свои помыслы служению государству.

В восьмом томе впервые публикуется речь, произнесенная В. О. Ключевским на торжественном заседании в Московском университете 26 мая 1899 г., посвященном столетию со дня рождения А. С. Пушкина {См. статью "Памяти А. С. Пушкина", стр. 306--313.}. В ней В. О. Ключевский подчеркнул не только глубоко национальный характер творчества А. С. Пушкина, но и его значение в развитии мировой культуры, связывая деятельность гениального поэта с развитием русской культуры XVIII в. "Целый век нашей истории работал, -- пишет Ключевский, -- чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения" {Там же, стр. 309.}. И в своей речи В. О. Ключевский вновь особенно подчеркивает то, что толчок к развитию русской культуры целиком и полностью принадлежал инициативе одного лица -- Петра I, который своими реформами, всей своей государственной деятельностью добился того, что Россия впервые почувствовала "свою столь неожиданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь". Россия будто бы откликнулась на "призыв, раздавшийся с престола", и выдвинула таких деятелей культуры, как М. В. Ломоносов и А. С. Пушкин {См. выше, стр. 307, 308.}.

Исследования, посвященные культуре XVIII в., занимают у В. О. Ключевского специальный раздел в его научном творчестве. Среди них прежде всего выделяются две статьи, посвященные крупному дворянскому историку XVIII в. -- И. Н. Болтину. В них Ключевский пытается проследить последовательное развитие русской исторической науки, начиная с первой половины XVIII в. Продолжая начатые С. М. Соловьевым исследования о научной деятельности Болтина, Ключевский верно отметил роль последнего в развитии русского исторического знания, стремление Болтина отразить своеобразие русской истории одновременно с применением сравнительного метода при рассмотрении истории России и истории Западной Европы. "Его патриотическая оборона русской жизни превращалась в спокойной сравнительное изучение русской истории, а такое изучение побуждало искать законов местной народной истории и тем приучало понимать закономерность общего исторического процесса" {Там же, стр. 156.}, -- в таких словах писал В. О. Ключевский о И. Н. Болтине. Необходимо отметить, что В. О. Ключевский идеализировал взгляды И. Н. Болтина, совершенно опуская из вида его апологетику самодержавного строя России.

В другой работе, посвященной истории XVIII в., -- "Недоросль Фонвизина" -- В. О. Ключевский основное внимание уделил уровню образования в среде дворянского общества того времени, используя в качестве примера собирательные образы комедии Д. И. Фонвизина. В этом произведении В. О. Ключевский справедливо увидел прекрасный источник по истории XVIII в. Верно признавая комедию бесподобным зеркалом русской действительности, В. О. Ключевский отметил, что духовные запросы в среде дворянского общества находились на крайне низком уровне и идеи просвещения очень туго усваивались им. Ключевский пытался объяснить это обстоятельство слабостью общественного сознания в среде дворянства, его нежеланием

откликаться на предначертания правительства, направленные к тому, чтобы дворянство на себе самом показало "другим классам общества, какие средства дает для общежития образование, когда становится такой же потребностью в духовном обиходе, какую составляет питание в обиходе физическом" {Там же, стр. 285.}.

Давая яркие картины дворянского воспитания XVIII в., Ключевский тем не менее не захотел разобраться в том, что вся система образования XVIII в., как и позднее, строилась в царской России на сугубо классовой основе. Молодое поколение дворянства получало воспитание в направлении, отвечающем нуждам своего класса, но отнюдь не "общественного сознания".

В явной связи с этюдом о "Недоросле" находится и статья Ключевского "Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени". Следуя установившемуся в буржуазной историографии взгляду на Н. И. Новикова как книгоиздателя, Ключевский связывал эту сторону деятельности Новикова с состоянием просвещения в России во второй половине XVIII в. В. О. Ключевский видел в Новикове редкий тип передового русского дворянина, посвятившего свой организаторский талант распространению в России просвещения путем издания сатирических журналов и книгоиздательства {См. выше, стр. 249, 251.}. Однако Ключевский оставил в стороне деятельность Новикова как русского просветителя XVIII в., вовсе не ограничивавшегося только книгоиздательской деятельностью. Ведь Н. И. Новикову принадлежал целый ряд полемических статей и философских произведений, в которых была заложена прежде всего антикрепостническая, антидворянская идея.

Ряд статей и этюдов В. О. Ключевский посвятил деятелям культуры и науки XIX в. Среди них -- воспоминания об его учителях по Московскому университету С. М. Соловьеве и Ф. И. Буслаеве, статьи и наброски, посвященные Т. Н. Грановскому, М. Ю. Лермонтову, А. С. Пушкину и др. В. О. Ключевский в публикуемых в настоящем томе воспоминаниях о С. М. Соловьеве характеризует своего учителя как выдающегося педагога, уделявшего много внимания университетскому преподаванию. Большой интерес представляет высказывание Ключевского о замысле основного труда С. М. Соловьева -- "История России с древнейших времен". Ключевский считал, что основная идея Соловьева заключалась в том, чтобы написать историю России за "120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в." Первые 12 томов труда -- "только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе" {Там же, стр. 359.}. Ключевский очень сожалел, что Соловьев не успел завершить работы над своим трудом и не показал путь, пройденный Россией "между началом и концом XVIII в." {Там же, стр. 367.}

Пробел в монографическом изучении России XVIII в. В. О. Ключевский пытался в какой-то мере завершить сам, сделав это в IV и V частях своего "Курса русской истории". Для характеристики взглядов Ключевского на историю России XVIII в. важно отметить, что в данном вопросе он существенно отошел от точки зрения Соловьева. Говоря о дальнейшей судьбе реформ Петра I (после его смерти и до 1770-х годов), как это показано в "Истории России" Соловьева, Ключевский писал: "...мысль о реформе, как связующая основа в ткани, проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра" {Там же, стр. 365--366.}. Действительно, С. М. Соловьев видел в буржуазных реформах 60-х годов непосредственное продолжение и развитие реформ Петра I, против чего уже возражали В. Г. Белинский и другие революционные демократы {См. "Очерки истории исторической науки в СССР", т. I, М. 1955, стр. 358.}. В. О. Ключевский в своем "Курсе русской истории", пытаясь проследить судьбы реформ Петра I после его смерти, видел в "начале дворянства", реакцию против этих реформ {Об этом см. В. О. Ключевский, Сочинения, т. IV, М. 1958, стр. 345.}, считал, что "редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти" (XVIII в.) {См. выше, стр. 367.}. В. О. Ключевский не связывал установление "дворянства" в России с развитием феодализма, хотя уже в работе о земских соборах сам же показал, что дворянство делается силой задолго до XVIII в. Но, несмотря на отрицание классовой основы самодержавия, стремление В. О. Ключевского уловить новые явления в историческом развитии России XVIII в. сохраняет историографический интерес.

Воспоминания В. О. Ключевского о знаменитом русском филологе Ф. И. Буслаеве, под руководством которого он занимался в Московском университете, просто и вместе с тем очень четко вскрывают значение Буслаева как крупнейшего ученого, поставившего в неразрывную связь развитие письменности и литературы на Руси с языком народа, с памятниками народного творчества. "Так рост языка приводился в органическую связь с развитием народного быта, а письменная литература -- в генетическую зависимость от устной народной словесности", -- писал Ключевский в своих набросках к статье о Ф. И. Буслаеве {См. ниже, стр. 475.}.

Статья о Т. Н. Грановском, написанная Ключевским к пятидесятилетию со дня его смерти, в момент подъема революции 1905 г., отражала скорее политические взгляды автора, нежели оценку научной деятельности Т. Н. Грановского. В. О. Ключевский, близкий в то время к партии кадетов, противопоставлял в этой статье преобразовательную деятельность Петра I деятельности самодержцев России вплоть до конца XIX в., которые "обманули надежды" людей "меры и порядка" {См. выше, стр. 394, 395.}.

Наконец, в статье "Грусть" В. О. Ключевский попытался в плане излюбленного им психологического анализа рассмотреть творчество М. Ю. Лермонтова. Он верно связал противоречивость творчества Лермонтова с условиями дворянского быта и среды, вызывавшими у поэта горькую досаду и чувство ненависти и презрения к окружающему его обществу. Но далее В. О. Ключевский, игнорировавший развитие демократической направленности общественной мысли, пытался доказать, что М. Ю. Лермонтов превратился в "певца личной грусти", сугубого индивидуалиста, в конце своего короткого жизненного пути подошедшего к примирению с "грустной действительностью", проникнутого христианским чувством смирения {См. там же, стр. 113, 120, 124, 128, 131, 132.}. Это мнение резко противоречит тому огромному общественно-политическому звучанию, какое в действительности имели произведения великого русского поэта.

Большой интерес представляют публикуемые в настоящем томе обстоятельные отзывы В. О. Ключевского на исследования П. Н. Милокова, Н. Д. Чечулина и Н. А. Рожкова.

Несмотря на то что в 1890--1900 гг. В. О. Ключевский не создал ни одной монографической работы, посвященной социальным или экономическим вопросам истории России, он продолжал интересоваться этими вопросами и в своих отзывах выдвигал интересные положения, не утерявшие своего значения до настоящего времени и важные для освещения его личных взглядов.

В трактовке реформ Петра I, их причин и характера осуществления, В. О. Ключевский был близок к взглядам П. Н. Милокова, которые тот высказал в исследовании -- "Государственное хозяйство России в первую четверть XVIII в. и реформы Петра I". И сам Ключевский в своем "Курсе русской истории" {В. О. Ключевский, Сочинения, т. IV, стр. 360, 361.} смотрел на совершившиеся изменения в социально-экономической жизни страны в начале XVIII столетия главным образом сквозь призму правительственных преобразований. Тем не менее и Ключевский вынужден был признать крайний схематизм построений Милокова, ядовито отметив, что многие выводы последнего получились в результате излишнего доверия к денежным документам XVIII в. В. О. Ключевский ставил государственные преобразования во взаимосвязь с состоянием народного хозяйства, упрекая Милокова в том, что тот "в своем исследовании строго держится в кругу явлений государственного хозяйства, в трафарете финансовой росписи;.. а такую близкую к государственному хозяйству область, как хозяйство народное, оставляет в тени" {См. выше, стр. 182.}.

В отзыве на исследование Н. Д. Чечулина "Города Московского государства в XVI в." Ключевский, давая целый ряд интересных соображений о критике писцовых книг как основного вида источников, использованных Чечулиным, высказывал ценные соображения относительно значения городов "как факторов общественной жизни". Так, В. О. Ключевский пишет о необходимости изучения состава городского населения в тесной связи с уездным, требует прежде всего учитывать посадское население в городах, а также не обходить молчанием иных поселений, "не носивших звания городов, но с посадским характером" {Там же, стр. 201--203.}.

В том же плане В. О. Ключевский построил свой отзыв о другом труде социально-экономического характера -- "Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в." Н. А. Рожкова. В

своем отзыве р. О. Ключевский ставил в большую заслугу автору постановку вопроса о сельскохозяйственном кризисе во второй половине XVI в. Однако Ключевский не соглашался с мнением Рожкова, что этот кризис был вызван системой землевладения и хозяйства, ростом поместного и крупного монастырского земледелия. Он считал нужным ставить вопрос более широко: "Условия, создавшие этот кризис, не ограничивались сферой сельского хозяйства, произвели общий и один из самых крутых переломов, когда-либо испытанных русским народным трудом, и когда вопрос будет обследован возможно разностороннее, тогда, может быть, и самый процесс получит иное освещение и иную оценку" {Там же, стр. 386.}. Следует отметить, что вопрос о причинах сельскохозяйственного кризиса второй половины XVI в. до настоящего времени не получил окончательного разрешения. В частности, причины этого кризиса по-разному объяснены в трудах Б. Д. Грекова и М. Н. Тихомирова {О историографии вопроса см. *Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси*, кн. 2, М. 1954, стр. 233--242.}

Восьмой том "Сочинений" В. О. Ключевского завершается лекциями по русской историографии, читанными историком в конце 80-х -- начале 900-х годов в Московском университете. "Лекция" представляют собою основную часть специального курса, который читался Ключевским как непосредственное продолжение его курса по источниковедению {Курс лекций Ключевского по источниковедению см. в кн.: *В. О. Ключевский, Сочинения*, т. VI, М. 1959.}. Полностью сохранились и воспроизводятся в настоящем издании девять лекций по историографии XVIII в. Вводная лекция к курсу, разделы по историографии летописного периода, XVII в. и о В. Н. Татищеве сохранились только в набросках, которые в настоящем издании не публикуются.

Курс лекций Ключевского находится в тесной связи с его исследованиями по историографии XVIII в., в частности со статьями о Н. И. Новикове и И. Н. Болтине. В курсе В. О. Ключевский широко использовал как труды самих историков XVIII в., так и специальные исследования С. М. Соловьева, Пекарского и др. Ему удалось дать ряд интересных характеристик русских и немецких ученых XVIII в., занимавшихся историей России. Вместе с тем "Лекции" не свободны от целого ряда серьезных недочетов. Односторонней являлась оценка историографического наследия М. В. Ломоносова, труды которого сыграли крупную роль в изучении древней русской истории, в борьбе с норманистическими построениями Байера, и Миллера {См. *Б. Д. Греков, Ломоносов-историк, "Историк-марксист"*, 1940, No 11, стр. 18--34; *М. Н. Тихомиров, Русская историография XVIII в., "Вопросы истории"*, 1948, No 2, стр. 94--99; "Очерки истории исторической науки в СССР", т. I, стр. 193--204.}. Вывод Ключевского о том, что "Древняя Российская история" Ломоносова не оказала большого влияния "на ход историографии" {См. выше, стр. 409.}, не соответствует действительному положению вещей.

Тем не менее публикуемый курс В. О. Ключевского при всем его конспективном характере представляет научный интерес, как один из первых опытов освещения истории русской исторической науки XVIII в.

Кроме издаваемых в "Сочинениях", а также опубликованных в других сборниках и журналах статей, рецензий и речей В. О. Ключевского, значительное число подобных материалов (большей частью незавершенных автором) сохранилось в рукописном виде {Основная их часть хранится в фонде Ключевского Рукописного собрания Института истории АН СССР, папка 25 (в дальнейшем при указании материалов, место хранения которых специально не оговаривается, следует иметь в виду, что они находятся в этой папке)}. К их числу относятся две студенческие работы Ключевского, написанные в 1862--1863 гг.: "Сочинения Дюрана, епископа Мендского о католическом богослужении" (2 п. л.) и "Сравнительный очерк народно-религиозных воззрений" (около 0,5 п. л.). Последняя работа, написанная в семинаре Ф. И. Буслаева, весьма интересна для изучения вопроса о формировании исторических взглядов Ключевского. Ключевский в ней

подчеркивает, что человек "в естественном состоянии... находится под постоянным, неотразимым и непосредственным влиянием природы, которая могущественно действует на всю его жизнь" и, в частности, ее явления определяют "все содержание религиозных верований". Это утверждение вызвало возражения Буслаева, который на полях написал, что "главное -- в зависимости от условий и обычаев самой жизни народа". "Быт иногда сильнее природы оказывает действие на образование мифов, ибо через условия быта природа входит в мифологию".

К 1865 г. относится незавершенная работа Ключевского "О церковных земельных имуществвах в древней Руси" (около 2 п. л.). Этой теме позднее автор посвятил ряд работ и уделил значительное внимание в "Курсе русской истории". Очевидно, в связи с первоначальным планом изучения "житий святых" как источника по истории землевладения и хозяйства, в конце 60-х годов XIX в. написано Ключевским исследование об участии монастырей в колонизации Северо-Восточной Руси, также оставшееся незаконченным, но давшее позднее материал автору для "Курса".

В 70-х годах XIX в. Ключевский пишет ряд рецензий на вышедшие тогда большие исторические труды. В "Заметках о ереси жидовствующих" (1870 г., около 1 п. л.), написанных в связи с выходом в свет "Истории русской церкви" Макария (т. VI), Ключевский говорит о необходимости изучать ересь как определенное движение, в глубине которого действовали "практические мотивы, направленные против всего строя русской церковной жизни XV в." {Подробнее об этих заметках см. в книге Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье, "Антифеодальные еретические движения на Руси XIV -- начала XVI в.", М.-Л. 1955, стр. 7, 9.}

Резкой критике подвергает он труды ученых-славянофилов и представителей официального направления. Им были написаны: в 1872 г. рецензия на книгу М. П. Погодина "Древняя русская история домонгольского ига", т. I--III (около 0,5 п. л.); рецензия на "Русскую историю", т. 1, К. Н. Бестужева-Рюмина (около 0,5 п. л.); в 1879 г. набросок рецензии на "Лекции по истории русского законодательства" И. Д. Беляева под заглавием "Русский историк-юрист недавнего прошлого" (Государственная библиотека им. В. И. Ленина [далее -- ГБЛ], папка 14, дело 16); наброски рецензии на книгу И. Е. Забелина "История русской жизни", т. II (ГБЛ, папка 12, дело 2, около 0,5 п. л.). К этого же рода полемическим материалам относится письмо (начало 70-х годов XIX в.) в газету о роли Москвы в русской истории (0,4 п. л.). В этом письме Ключевский саркастически высмеивает славянофильское представление о том, что Москва была "городом нравственного мнения".

В связи с выходом в свет в 1876 г. книг Д. Иловайского "Розыскания о начале Руси" и "История России", т. I, Ключевский начал полемическую статью по варяжскому вопросу, к которой он вернулся в 90-х годах XIX в. (0,75 п. л.).

В этой работе Ключевский подвергает критике норманскую теорию Погодина и роксоаланскую гипотезу Иловайского, а в 90-х годах коснулся также возникновения "варяжского вопроса" в историографии XVIII в.

Вероятно, в связи с работой над "Курсом русской истории" Ключевский написал в конце 70-х годов небольшой труд "О племенном составе славян восточных" (около 0,8 п. л.; ГБЛ, папка 15, дело 20), в котором исходил из тезиса С. М. Соловьева о том, что "История России есть история страны, которая колонизируется".

От 80--90-х годов сохранился ряд отзывов Ключевского, в том числе на диссертации Н. Кедрова "Духовный регламент в связи с преобразовательной деятельностью Петра Великого" (1883, около 0,3 п. л.), В. Е. Якушкина "Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII--XIX вв." (1890, 0,1 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 18), М. К. Любавского "Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства" (1894, 0,2 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 27), А. Прозоровского "Сильвестр Медведев" (1897, 0,4 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 23), Н. Н. Фирсова "Русские торгово-промышленные компании в 1 половине XVIII ст." (1897, 0,1 п. л.). Все эти отзывы сохранились, как правило, не в законченном, а черновом виде. Тот же характер имеют и наброски речей, произнес санных Ключевским в связи с юбилейными датами, похоронами и т. п., например речь памяти И. С. Аксакова (1886, 0,2 п. л.), речь при закрытии Высших женских курсов (1888, 0,1 п. л.), речь памяти А. Н. Оленина (1893, 0,25 п. л.; ГБЛ, папка 13, дело 14), наброски

речи о деятельности Стефана Пермского (1896, 0,25 п. л.), памяти П. И. Шафарика (1896, 0,1 п. л.; ГБЛ, папка 15, дело 2), памяти К. Н. Бестужева-Рюмина (1897, 0,2 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 6), памяти А. Н. Зерцалова (1897, 0,1 п. л.), памяти А. С. Павлова (1898; ГБЛ, папка 15, дело 4), речь на чествовании В. И. Герье (1898, 0,1 п. л.; ГБЛ, папка 15, дело 3), речь на столетнем юбилее Общества истории и древностей российских (1904, 0,7 п. л.), набросок речи, посвященной 150-летию Московского университета (1905, 0,1 п. л.).

В фонде Ключевского в ГБЛ сохранились также рукописи неизданных статей и рецензий, а также ряда статей, опубликованных Ключевским, но не вошедших в настоящее издание: "Рукописная библиотека В. М. Ундольского" (1870; ГБЛ, папка 14), рецензия на Т. Ф. Бернгарди (1876, ГБЛ, папка 14, дело 12), копия отчета "Докторский диспут Субботина" (1874; ГБЛ, папка 14, дело 13), рецензия на книгу Д. Д. Солнцева (1876; ГБЛ, папка 14, дело 14), наброски статьи о Н. Гоголе (1892, 0,25 п. л.), "Новооткрытый памятник по истории раскола" (1896, 0,5 п. л.; ГБЛ, папка 13, дело 22), "О хлебной мере в древней Руси" (1884; ГБЛ, папка 13, дело 6), "Добрые люди Древней Руси" (1892; ГБЛ, папка 13, дело 12), "Значение Сергия Радонежского для истории русского народа и государства" (1892; ГБЛ, папка 15, дело 1), "Два воспитания" (1893; ГБЛ, папка 13, дело 13), "М. С. Корелин" (1899; ГБЛ, папка 14, дело 7), "Смена" (1899; ГБЛ, папка 14, дело 8), "О судебнике царя Федора" (1900; ГБЛ, папка 14, дело 9), отзывы на сочинения студентов Московской духовной академии и др.

В Институте истории АН СССР хранятся материалы и дополнения Ключевского к книге П. Кирхмана "История общественного и частного быта", М. 1867 (папка 25); в папке 24 находятся рукописи и корректуры следующих опубликованных в разных изданиях работ Ключевского: "Докторский диспут г. Субботина" (1874), корректура статьи "Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка" (1888), наборный экземпляр статьи "Значение Сергия Радонежского для русского народа и государства" (1892), наброски речи, посвященной памяти Александра III (1894), наброски статьи "М. С. Корелин" (1899).

* * *

При подготовке текста работ В. О. Ключевского и комментариев соблюдались правила, указанные в первом томе.

Текст восьмого тома Сочинений В. О. Ключевского подготовили к печати и комментировали *В. А. Александров* и *А. А. Зимин*. В подготовке к печати текста лекций по русской историографии В. О. Ключевского и комментариев к ним принимала участие *Р. А. Киреева*.

Том выходит под общим наблюдением академика *М. Н. Тихомирова*.

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Статья читана на заседании Общества любителей российской словесности, 13 ноября 1894 г.; впервые издана в "Русской мысли" 1895, No 1, стр. 49--60; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского -- "Очерки и речи", М. 1913, стр. 248--282; а также в книге В. О. Ключевского "Курс русской истории", т. V, М. 1937, стр. 424--455. В архиве В. О. Ключевского сохранились вырезка статьи из журнала, ее черновой автограф, помеченный 17 июня -- 13 августа, черновые материалы статьи (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дело 16), а также беловой автограф статьи (Рукописное собрание Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24).

¹ *Иоанн Масон*, Познание самого себя, перевел с немецкого И. Т., М. 1783, ч. I, стр. 12; ч. II, стр. 32.

² "Первым можно считать Общество любителей русской словесности, составившееся из кадетов сухопутного шляхетного корпуса еще в 1730-х годах, когда там учился Сумароков".